

АЛЕКСАНДР СМУЛЯНСКИЙ

ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТЕОРИЯ

КНИГА О КЛЮЧЕВЫХ ФИГУРАХ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

ФУКО
ДЕРРИДА
ЛАКАН
ЖИЖЕК

Фигуры Философии

Александр Смулянский

**Исчезающая теория. Книга
о ключевых фигурах
континентальной философии**

«РИПОЛ Классик»

2021

УДК 14
ББК 87

Смулянский А. Е.

Исчезающая теория. Книга о ключевых фигурах континентальной философии / А. Е. Смулянский — «РИПОЛ Классик», 2021 — (Фигуры Философии)

ISBN 978-5-386-14140-0

Александр Смулянский, автор знаменитого «Лакан-ликбеза», философ и психоаналитик, представляет книгу о ключевых фигурах континентальной философии – Фуко, Деррида, Лакане и Жижеке – рассматривая их как представителей структурализма и заново определяя это интеллектуальное движение не просто как оригинальный эпизод философской истории, но и как актуальную практику мысли. Работа показывает, что прощание с эпохой структурализма было преждевременным. Напротив, острая необходимость в средствах структуралистской мысли наступает в настоящий момент, наполненный событиями и интеллектуальными тенденциями, возникновение которых в разное время предсказали основные фигуранты книги. «Исчезающая теория» представляет собой новое введение в созданные ими концепции и одновременно содержит анализ их теорий в приложении к современности. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 14

ББК 87

ISBN 978-5-386-14140-0

© Смулянский А. Е., 2021

© РИПОЛ Классик, 2021

Содержание

Что такое структурализм и каким образом его повестка продолжает свое существование	6
1	13
Другая современность	15
Социальная группа против родства	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Александр Смулянский
Исчезающая теория
Книга о ключевых фигурах
континентальной философии

Серия «Фигуры Философии»

© Смулянский А. Е., 2021

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

* * *

Серия «ФИГУРЫ ФИЛОСОФИИ» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности.

Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве.

Что такое структурализм и каким образом его повестка продолжает свое существование

Сегодня становится все более очевидным, что популярная словарная игра с историко-философским водоразделом между структурализмом и различными образованиями на его основе, которые якобы должны зафиксировать движения, пришедшие ему на смену, была малоинформативной и тщетной попыткой описания произошедшего. Причина заключается не только в необязательности и поверхностности вирусных спекуляций на тему постструктурализма, но и, собственно, в делящейся сегодня невозможности признать историю структурализма ни продолжающейся, ни законченной.

Поразительно, что даже специалисты по истории современной философии до сих пор не смогли определиться, должна ли в отношении структурализма идти речь о периоде или все же о методе, и вопрос этот бьет рекорды одновременно как по неразрешимости, так и по общему безразличию, которое ему сегодня адресуется. Одной из самых известных и наиболее удачных опережающих попыток закрыть его является определение, еще по горячим следам сделанное Ж. Делезом в работе «По каким критериям узнают структурализм»¹. Небольшая по объему, эта чрезвычайно насыщенная статья содержит семь критериев, позволяющих отнести к структуралистской ту или иную теоретическую практику. При этом Делез не сообщает, как следует оценивать практики, которые отвечают не всем критериям, хотя подобную переходную форму частичной принадлежности в тот момент как раз начинала приобретать его собственная мысль. Примечательно также, что критерии носили идеологический характер в той же, если не большей степени, что и методологический – для того, чтобы считаться структуралистским, автору надлежало сделать шесть однозначных исследовательских выборов (между означающим и идеей, позиционностью и содержательностью, дифференциальным и целостным т. п.), продемонстрировав, что его письмо в достаточной степени последовательно их результатов придерживается. Последний, седьмой критерий, как бы образуя по отношению к остальным рекурсию, указывал на необходимую способность мыслителя-структуралиста совершить «бросок к практике», включающий в себя столкновения с последствиями всех предшествующих выборов.

То, что заставило Делеза в этом определении опереться на перечисление критериев, а не на выделение наиболее общего для метода свойства, по всей видимости, отвечало преобладающему в тот момент воодушевлению инструментальностью самой структуралистской мысли, операционной разнесенностью ее возможностей. Но тем самым, по всей видимости, до сих пор не была решена задача определения не столько границ или очертаний структуралистского эпизода и даже не наиболее «сущностного» в нем – поскольку это означало бы вернуться в самой процедуре определения на доструктуралистские позиции, против чего предупреждал, например, Деррида, – сколько самого условия создания структуралистских теорий. Речь, таким образом, должна идти не просто о еще одной характерной черте, а о формулировании возможности; не о той структуре или структурах, которые могли быть использованы и реализованы в самой в структуралистской мысли, а о процедуре, впускающей саму эту реализацию.

Обозначить процедуру такого рода возможно через следующее определение. Структурализм – это общее именование для изобретения теоретических операций, которые создавали бы некоторую конкретную необратимость, особую *irreversibleness*, на основании которой возникает теоретическое производство. При этом участвующие в создании этой необратимости операции должны быть – и это неотъемлемая часть определения – отделены от вытекающих

¹ Deleuze G. A quoi reconnaiton le structuralisme? // La Philosophie en XX siècle. Sous la dir de Francois Chatelet. Paris. Marabout, 1967. На русском: Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм // Ж. Делез. Марсель Пруст и знаки. – СПб.: «Алетейя», 1999. С. 133–174.

из них теоретических практик и предшествовать им логически, даже если формулирование этих операций происходит в последствии, на полном ходу уже происходящего развертывания теории.

Это нуждается в некоторых пояснениях. С одной стороны, очевидно, что любое новое теоретическое начинание всегда настаивает на безальтернативности и необходимости предложенной в нем процедуры познания и связанной с ней операции, но только в структуралистской практике необратимость оказывается продуктом операции совершенно отдельной, реализуемой на иных условиях, нежели все прочие суждения и теоретические расширения, наполняющие созданное этой операцией пространство.

Именно с этой точки зрения следует в том числе рассматривать выделенные Делезом черты метода. Так, очевидная вплоть до необсуждаемости сконцентрированность структуралистских авторов на инстанции означавшего не была независимым порождением специальной методологической новации, выполнявшей также прикладную роль в анализе прочих явлений – общества, политики, искусства и т. п. Напротив, означавшее выступило на первый план, поскольку каждому из этих авторов изначально предстояло самому найти означавшее или ряд означавших, которые бы решали задачу создания первичной теоретической неустранимости. Это решение могло касаться любой части или региона ситуации, но внутри этого региона всегда было единственным.

Так, для обновляющего теоретического выдвижения психического региона Лакан вводит означавшее «желание», которое, увидев в нем со временем утечку проблематизации, он дополняет и частично заменяет «тревогой», и которое независимо от имени должно было исполнить задачу описания такой структуры, которая неизбежно выступала в субъекте заграждением для собственных же последствий, провоцируя общую неустранимую задержку (то, что Лакан в своих семинарах называет «необходимостью», *la nécessité*). Для региона сопряжения социального и психического Фуко вводит означавшее «власть», которое решает вопрос необратимости иначе – посредством сделанного Фуко концептуального комментария власть оказывается вездесущей и благодаря этому постоянно образующей локальные эксцессы, которые, создавая концентрацию отношений власти в новом месте, тем самым этой вездесущности активно препятствуют. Таким образом власть образует пространство (но) без какой бы то ни было протяженности. Решение Альтюссера, близкое по региону осуществления к решению Фуко, имеет другую конфигурацию: марксистское положение о примате экономической детерминации, дополненное Альтюссером источниками детерминирования на ином уровне, описывалось теперь через невозможность в каждой точке установить, какой тип детерминации в действительности является детерминацией «в конечном счете». Детерминация в качестве процедуры оказывается, таким образом, предваряющей (но) без допущения какой бы то ни было диахроничности.

Таким образом, каждая из этих операций образует неустранимость, связанную с их теоретической необходимостью и одновременно неразрешимостью, на территории которой располагаются все прочие элементы учения. Именно поэтому к структурализму неприменимы широко распространенные в академической литературе приемы исторического описания философских течений, требующие зафиксировать как данность тот факт, что каждое направление окружено соседствующими течениями, содержательную или методологическую часть которых оно опровергает и тем самым получает свое определение через противостояние им. Если структурализм действительно в какой-то момент выступил против экзистенциальной философии и герменевтического подхода, то произошло это не по причине принципиального расхождения в воззрениях на положение вещей (хотя сами структуралистские авторы в тот момент на этом могли настаивать), а ввиду невозможности обнаружить в неструктуралистских течениях не только попытки воссоздания отдельной и необратимой процедуры, но даже тени беспокойства на этот счет. Никаких иных более принципиальных расхождений между структурализмом и любым

другим предшествующим или соседствующим с ним теоретическим течением не существовало, поскольку все в дальнейшем обнаружившиеся очаги взаимной методологической нетерпимости проистекали именно из этого основного различия.

Это положение можно проиллюстрировать судьбой некоторых понятий, находимых одновременно как в структурализме, так и в других течениях. Например, экзистенциализм, как и структурный психоанализ, также делает акцент на «тревоге», но необходимость использования этого термина оба течения решают по-разному. С экзистенциалистской точки зрения тревогу вызывают глобальные онтологические обстоятельства, вынуждающие субъекта вести безосновное, неустроенное существование. В подобном использовании «тревоги» возникает тавтология, тривиальность, и именно это лишает необходимости выносимое на данной основе суждение. Так, с одной стороны, для субъекта странно было бы в подобных безвыходных условиях испытывать что-то, кроме тревоги; с другой – никакой необходимости здесь нет: субъект на этом фоне и в особенности в рамках предписанной же экзистенциализмом безразличной свободы может испытывать все, что его душе угодно. Именно по этой причине экзистенциалистская мысль бессильна без поддержки со стороны этики, выполняющей обосновывающую и профетическую роль там, где не справляется теория.

Обращение с тревогой в рамках структуралистской процедуры носит иной характер – так, например, описанная Лаканом вытекающая из тревоги «нехватка» (которую нередко ошибочно прочитывают как непрямую, но бесспорную наследницу экзистенциалистской безосновности субъектного существования) на деле не состоит в какой бы то ни было связи ни с отсутствием смысла, ни с лишенностью онтологических гарантий. Она проистекает исключительно из определенного алгоритма действия тревоги (а не содержательного характера ее аффекта – например тоскливого или безысходного). В изложении Лакана, если выразить его короткой формулой, тревога никогда не дана непосредственно в виде переживания, но является защитой против самой же тревоги, и в этом ее, тревоги, основная черта.

При этом Лакан, в отличие от Фрейда, не хочет сказать, что действие тревоги, как и бессознательного в целом, доступно только в ответных сопротивлениях со стороны сознания в виде негативных следов или отпечатков воздействия. Формула Лакана более сжата и парадоксальна: согласно лакановскому решению тревога *и есть* то, что сопротивляется себе в своих же собственных последствиях. Например, такое психическое явление как фобия в структурном психоанализе не является отражением и проявлением тревоги в сознании, как на это традиционно смотрит психология, но представляет собой выработанную субъектом симптоматическую защиту против тревоги, притом что акт этой защиты по существу и есть тревога как таковая. Таким образом, нет никакой логической возможности феноменологически тревогу локализовать и тем более дать ей содержательное описание – например, на языке эмоций и переживаний. Остается лишь механизм, определенная логика срабатывания, которая накладывает отпечаток на функционирование всех прочих связанных с понятием тревоги психоаналитических концепций. Тем самым любые постлаканоуские экспликации нехватки (например, наложение концепции нехватки на политику или любовные отношения) не имеют никакой действительности без учета этой логики.

Строго говоря, структуралистским может называться только исследователь, выстраивающий теоретический аппарат, все элементы которого содержат учет операции изобретения того или иного типа необратимости. Изобретение это выражается в конструировании несуществовавшего до того структурного напряжения, которое нельзя ни разрешить собственными средствами теории, ни вернуться на тот теоретический уровень, где этой неразрешимости не существовало. Необходимым условием структуралистского вмешательства выступает то, что все прочие элементы теоретического повествования – будет ли это анализ, гипотеза или иллюстрация – без подобного изобретения не имеют смысла. Именно это отличало структурализм от прочих типов философской и иной спекуляции, включая также и большое количе-

ство современных образцов, как правило, устроенных традиционно нарративно и делающих ставку на последовательное изложение причин, резонов и доводов. В этом смысле облюбованное многими различие между структурализмом и теоретической практикой, которую приучились обозначать в качестве «постструктуралистской», лишается смысла, поскольку приписываемые этой «новой» практике авторы – например Деррида – по большей части выстраивали ее посредством точно такого же необратимого изобретения.

Также не столь странным, вероятно, покажется заявление, что первым структуралистом с этой позиции можно считать Хайдеггера, хотя его собственное теоретическое изобретение, отмеченное внутренней неустранимой неразрешимостью, до известной степени оказалось побочным продуктом его вклада, сферу которого сам Хайдеггер определял как исключительно онтологическую.

Структурализм, таким образом, характеризуется теоретической ἀρετή², требованием исчерпать все концептуальные последствия основного изобретения. С одной стороны, именно эта ἀρετή, в определенный момент ошибочно прочитанное как известный формализм и даже догматизм, породило впечатление, что следующее за структурализмом интеллектуальное умонастроение должно компенсаторно продемонстрировать уклончивость, возведенную в принцип, а также выволить якобы погребенные под структуралистским методом разнообразные неоднозначности в области истинностных процедур. Подобное предположение происходило в основном из непонимания комментаторами различия между неустранимостью, связанной с необратимостью основных структуралистских изобретающих решений, и, с другой стороны, выстроенных с учетом этого решения «концептуальных тел», элементы которых сами по себе необходимостью могли не обладать.

Так или иначе, теперь на определенной дистанции видно, до какой степени фантастическими, чуть ли не деридиозными (учитывая всецелую поглощенность ими) были все используемые сторонниками выделения т. н. постструктуралистского эпизода в форме противопоставления «серьезного и игрового», «теоретического и литературного», на которых в свое время сделало академическую карьеру огромное количество исследователей. Сосредоточившись на этих антиномиях, большая часть из которых была либо мнимой, либо малозначимой, комментаторы не заметили иного, еще только назревавшего в тот момент перехода. Мало кто мог тогда предположить, что интеллектуальную сцену займет вовсе не новый дендизм ускользающих перцептивных и аффективных форм, а иная мысль, очертания которой для широкой публики только сейчас начинают принимать определенность.

Эта новая мысль в тех ее частях, где она все еще может быть сопоставлена со структуралистской повесткой на практике – например в области продолжения сопротивления системе, критике форм подавления, определении возможности политического действия и т. п., – в решении этих вопросов принимает совершенно новые очертания. Ее характер условно можно обозначить как программу новой заботливости, своего рода обновленную и одновременно онтически низведенную хайдеггеровскую *Besorgtheit*, использующую осадочную породу основных элементов структуралистских решений. Так, лакановская «нехватка» из общего закона желания превращается в статистическую констатацию ущемления меньшинств и угнетенных, а также в тягостные последствия политической неопределенности в целом. Фукианское «подавление» из прецедента, задающего возникновение борьбы и ее неопределенный исход в соотношении властных сил, переходит в оценку отрицательных итогов действия власти и оплакивание ее настоящих и будущих жертв; а сверхдетерминация Альтюссера перетолковывается как порочное взаимовлияние неограниченного роста прибыли корпораций и гедонистического безволия населения в вопросах избыточного потребления благ и расхода ресурсов.

² Арете – добродетель, достоинство (*др. – греч.*), обычно явленные публично.

Может показаться – и многие обозреватели так и решили – что структуралистские категории наконец-то таким образом обрели зримое практическое воплощение, но в то же время очевидно, что в таком применении они являются скорее теоретическими призраками ранее выработанных решений. Об этом грядущем переходе к обманчивому возвращению «на твердую землю» предупреждали практически все структуралисты, но определяли его не столько исходя из того, как его повестка будет выглядеть, сколько из того, от чего она в итоге отделяется как от чересчур обременительного и требовательного балласта. До некоторой степени предсказание было оправданно, поскольку первым и основным признаком этой повестки стал отказ от возведенного структурализмом в принцип строгого разделения между основным теоретическим изобретающим решением, создающим структурную необратимость, и остальными спекуляциями на территории этого решения. Современная злободневная теоретизация, сохранив характерный для структуралистской мысли социально-критический и деконструктивистский настрой, в то же время возвращается на пути традиционного конструирования нарратива, в котором ключевые для самой теоретизации решения принимаются исключительно по итогам предшествующей спекуляции.

По этой причине здесь легко происходит отступление на территорию новой буквальности. Так, сегодня социальная критика еще охотнее, чем даже до структуралистского периода, выводит те или иные злоупотребления наделенных властью или привилегиями из самой «природы» власти или привилегий (поскольку, даже будучи однажды деконструированная в пользу структуры, «природа» снова возвращается там, где ссылкой на «структуру» начинают пользоваться автоматически, полагая, что совершенная ранее процедура деконструкции, как Спасение, навсегда искупила любые грехи метафизики и эссенциализма). Эксплуататор, шовинист или насильник, будучи отрицательными героями современных философских и социологических таблоидов, с нынешней точки зрения поступают так не в силу усматриваемых, например, в классической марксистской критике неочевидных и требующих реконструкции интересов, а исключительно потому, что могут себе это позволить. Обновленный психологизм, расцветающий на фоне добродетельных требований «антиэссенциализма», парадоксально исходящих из тех же самых, продуцирующих этот новый психологизм источников, оказывается сегодня ведущим способом мыслить происходящее.

Соответственно, новая повестка в ее активистской части стремительно возвращается к самым теоретически нетребовательным идеям «перевоспитания», постановки здоровой преграды «злу», внедрения другого обычая или габитуса, которые должны оказать благотворное воздействие на слабые, непрогрессивные и одновременно чересчур активные общественные элементы, препятствующие переходу к желаемому режиму – например от культуры насилия (*rape culture*) к культуре согласия (*consent culture*), от «несознательного потребления» к «осознанному», от «вертикальности» властных структур к «горизонтальности» открытой публичности и коллективного действия. Повестка эта, таким образом, в своих основных программных заявлениях предлагает штампы и опирается на штампы, и происходит это не из самого по себе внезапно овладевшего ей прекраснодушия, а по причине исчезновения прецедентов в области теоретической процедуры, создающей тот или иной тип неотвратимости последствий.

Может показаться, что в настоящее время протестный активизм просто не нуждается в этих прецедентах, поскольку во многом преодолел свою прежнюю зависимость от интеллектуального бомонда. Немалое количество его участников полагает, что наличие доброй воли и коллективного усилия в насущных вопросах важнее теоретического бэкграунда. В то же время нетрудно заметить, что никогда еще политические успехи активизма не были так слабы и нестойки перед ответным сопротивлением «системы», как после произошедшего в них расцепления со структуралистскими процедурами.

В то же время резюмировать это положение набившими оскомину назидательными историями о счастливом брачном союзе теории и практики, похоже, нет резона, поскольку нетрудно

заметить, что в структуралистскую эпоху между тем и другим наблюдалось не столько взаимное подкрепление, сколько характерная метонимия. Можно сказать, что, невзирая на участие видных деятелей структурализма в тогдашних практиках сопротивления, для активизма уже тогда была характерна *другая* теория, существовавшая под структуралистским козырьком скорее стихийно, если термин «стихия» хоть сколько-нибудь к работе теории применим.

Так или иначе, структуралистские концепции продолжают свое существование в том числе потому, что они так и не были опровергнуты или даже удовлетворительно раскритикованы в последующей традиции. Они просто исчезли со сцены, претерпев своеобразный *Verneinung*³, но их остаточные следы продолжают виднеться повсюду, а их влияние сказывается в оговорках, формально или нет признающих полномочность причиненных структурализмом исчезновений (автономного субъекта, чистых идей без дискурса, врожденных данностей без конструирования и т. п.). Это означает, что содержательная сторона структуралистского вмешательства так или иначе была принята во внимание и усвоена в качестве нового общего места. Но само по себе это ничего не говорит об отношении к основным структуралистским теоретическим процедурам и привносимым ими изменениям в ситуацию.

Основная процедура, таким образом, создает последствия двух основных типов. Если первый относится к функционированию концепций, возникших на территории этой процедуры, то второй описывает более общие последствия, вытекающие из процедуры и вмешивающиеся в происходящее помимо и вне содержательного вклада самой теории. Таким образом, последствия первого типа описывают внутреннюю теоретическую необратимость процедуры, тогда как вторые указывают на исходящую из этой необратимости *неизбежность* ее влияния на положение дел, которое интеллектual воспринимает как текущую повестку дотеоретического уровня.

В свете этого, даже если гипотетически предположить, что сама культура восприятия структуралистских процедур может быть окончательно упразднена (на деле сегодня она к этому близка) и к ним, например, начали задавать не вполне релевантные с их точки зрения вопросы о научной достоверности, подобная критика сможет лишь поколебать доверие к концептуальной части структуралистских учений, но она не окажет никакого влияния на исходящее из процедуры вмешательство в ситуацию, субъекты которой производят действия и претерпевают их последствия.

В этом смысле все структуралистские процедуры, в том числе и сегодня, действительны не только самой по себе объяснительной силой связанных с ними теорий – хотя последняя сегодня и может цениться в зависимости от степени лояльности нынешних исследователей более или менее высоко – но и невозможностью нейтрализовать то, что вместе с каждой процедурой было привнесено. Их последствия тем самым сравнимы с последствиями картезианской процедуры – до какой бы степени та ни была лишь частным порождением философского суждения определенного исторического типа, как ни разоблачалась бы она впоследствии (включая ее разнообразные дезавуирования в рамках самого структурализма), ее действительность неустранима и не состоит ни в какой связи с тем, что впоследствии прочитывалось как идеалистическая наивность Декарта или же, напротив, как его интеллектуальное шулерство, совершенная им грамматическая подтасовка, допущенная в сформулированном им афоризме *cogito*.

Действительность эта не сводится ни к учреждению философского основания нового типа, ни даже к тому, что нередко прочитывается как историческая согласованность картезианского решения с назревавшими в тот момент обстоятельствами экономического или политического характера. По замечанию Лакана, Декарт, предложив свою формулу, вовсе не образует некое новое правило или образец существования для того, кого философы теперь именуют субъектом. Фундаментальным последствием картезианского деяния оказывается нечто иное,

³ Отрицание (нем.).

поскольку связанная с ним операция не порождает субъекта, а наделяет нечто человеческое субъективностью как обсессивным симптомом, открывая путь невротическому расщеплению, спровоцировавшему в дальнейшем необходимость совершенного Фрейдом открытия бессознательного.

Следует постановить, что именно этот невольно инициированный Декартом разрыв между содержанием действия и источником его последствий является признаком того, что инициированная им теоретическая операция не только удалась в качестве необратимой внутри истории философии, но и породила нечто неизбежное за ее пределами, в той области, где субъект вживую испытал на себе ее последствия. С одной стороны, следующие поколения философов могли предъявлять Декарту счет за бескомпромиссность созданного им эпистемного авторитета или образование почвы для политических злоупотреблений субъекта, вообразившего, что место универсального наблюдателя, которое он теперь как будто занял, равнозначно позиции власти. В то же время вплоть до Лакана умалчивали о том, что основным последствием картезианской операции оказывается совсем иное, а именно – появление охватившей современного субъекта тревоги, связанной с неустранимым разрывом между уверенностью и достоверностью. Данное следствие не выводимо непосредственно из содержания и интенциональности картезианского заявления, но является наиболее существенным его результатом, подтверждением его реальной небеспоследственности. По выражению Лакана, имеет значение не столько то, что картезианская процедура совершила сама по себе, а скорее то, *чему ее реализация открыла вход* – и вошедшее может не иметь ничего общего с ожидаемым эффектом этой процедуры.

Точно так же в новейшей критике иногда требуют оценить вред, нанесенный структуралистскими теориями как такими, за которыми стоит, например, презумпция власти интеллектуалов – академической, гендерной или иной природы. При этом практически никогда не требуют отчета касательно небеспоследственности, вытекающей из принятых ими решений, не сводящихся к содержанию исследовательского вклада, но проскальзывающих мимо этих обстоятельств в будущее, как мимо них в свое время проскользнули последствия утверждения *согито*, изменив положение субъекта со стороны, откуда философский рационализм не ждал последствий.

Задача исследования структуралистских вкладов, таким образом, оказывается двойной. Во-первых, реконструкции требуют сами принятые в их рамках теоретические решения; во-вторых, необходимо освещение дополнительных последствий, не предусмотренных этими решениями, но именно поэтому реализующих их неизбежность, обнаруживающуюся теперь в виде иных последствий. Каждой из подобных реконструкций в книге посвящена отдельная глава. При этом поглавное членение по авторам продиктовано не классическим академическим канонам, требующим признать за индивидуальным авторством презумпцию некоего отдельного теоретического начала, а допущением, что каждый из авторов организовал по крайней мере одну процедуру, превращающую его вклад в источник раскрывающихся сегодня разнообразных последствий – в том числе последствий иного порядка, нежели запланированные этим вкладом.

1

Фуко

Было бы неблагодарной и сегодня, вероятно, даже бессмысленной задачей освещать вклад Фуко так, как это делают авторы, занимающиеся общим обзором концепций, но не потому, что концептуализации этот вклад не поддается. На самом деле, следуя за предпринятыми Фуко дестабилизациями больших тривиальных понятий, следовало бы утверждать, что не существует такой вещи, как фукианская мысль или же философия: нет, похоже, ничего, что могло бы выступать в роли их описания, не превратившись при этом в текст, совершенно посторонний намерениям самого Фуко.

В то же время кажется вполне возможным построение рассуждения, которое могло бы удержать сопряжение с характерным для Фуко способом осуществления проблематизации, в том числе проблематизации использующихся в настоящий момент наиболее распространенных способов мыслить ситуацию. В этом отношении вместо восстановления или продолжения фукианства сегодня следовало бы говорить о возможности формулировать суждения, которые сохраняли бы саму логику этой проблематизации, но вовсе не обязательно были бы ориентированы учением Фуко непосредственно. Это существенное условие для обновления его вклада, поскольку всякий раз, когда авторы пытаются буквально оживить отдельные положения фукианского корпуса – будет ли это концепция «заботы о себе» или антипсихиатрический активизм – возникает впечатление некоторой искусственности усилий. Шумиха, время от времени поднимающаяся возле этих концепций, не обнаруживает соответствия побуждениям, с которыми Фуко в разное время их предлагал, а чрезмерное внимание к ним в ущерб уяснению позиции, из которой они в свое время возникали, в свою очередь, не дает понять, для чего сама инъекция фукианского подхода может понадобиться сегодня.

На деле возможности, вытекающие из этой инъекции, поистине могут поразить своим масштабом, поскольку пока лишь малое количество сделанных Фуко прививок суждения обернулось среди интеллектуального сообщества хоть сколько-нибудь стойким иммунитетом. С одной стороны, Фуко нередко воспринимается как один из самых удачливых структуралистских авторов с точки зрения усвоенности его наследия, тем самым выгодно контрастируя, например, с Альтюссером или Деррида, чьи теории со временем частично закапсулировались. В отличие от них фукианской постановке вопроса, во всяком случае в академиях, не приходится переподтверждать свою пригодность. Тем не менее это не исключает потери созданных Фуко теоретических мощностей другого плана, которые представляются чуть ли не более существенными, поскольку речь в них идет о том, по отношению к чему укоренившиеся элементы фукианской теории выступают лишь промежуточным результатом, неизбежностью, вытекающей из этих более неуловимых структур. В этом смысле концентрироваться только на магистральной части фукианской мысли означает совершать дополнительный вклад в ее захоронение.

Наиболее существенное, что может этому захоронению воспротивиться сегодня, проскальзывает мимо основных фукианских изобретений и находится скорее в области характерной для Фуко дидактики в постановке вопросов. Относясь к психоаналитическому знанию скорее как к создаваемой этим знанием проблемой, нежели как к надежной интеллектуальной технике, Фуко в то же время по-своему прибегал к рекомендованной Лаканом процедурой внесения соуриге, абстинентного разрыва в расчеты как своих слушателей, так и тех, с кем заочно или очно вступал в дискуссии. Всякий раз сталкиваясь с уже существующим «теоретическим катарсисом», с какой-либо характерной постановкой проблемы или ее предложенным решением, Фуко обычно останавливался, чтобы показать, что сам момент для разрядки напря-

жения выбран неверно и что ошибочно не только ощущение катарсиса, но и приведший к нему путь. Момент наступления этого катарсиса оказывается в тесной связи с тем, что Фуко распознавал как рассинхронизацию в процедуре создания проблематичности – с фукианской точки зрения там, где интеллектуал полагает, что он выдвигает или решает проблему, он, напротив, или создает проблему собственным высказыванием или, напротив, лишает постановку вопроса проблемы вовсе. При этом цель Фуко была шире, нежели внедрение собственного конкурирующего типа философского высказывания, – в гораздо большей степени им двигало побуждение сообщить, что нечто в высшей степени не так с тем сводным типом мысли, к которым интеллектуал, принадлежащий эпохе, наставшей после Второй мировой войны, оказался приучен своим образованием и общекультурной ситуацией.

В этой связи примечательно, что Фуко никогда не «спорил» в том общераспространенном смысле этого слова, когда оппонирующее высказывание представляет собой автоматическое предъявление «другого взгляда» на предмет, введенный собеседником ранее. Такая техника как спор, по всей видимости, не входила в его дидактический арсенал, в связи с чем можно усомниться, что, например, в жанре соцсетей, который сегодня в значительной степени обустроивает технику общественной дискуссии, основанную на довольно плоском полемосе, высказывания Фуко вообще были бы услышаны как возражения. Самыми резкими из его реакций по поводу высказываний собеседника были реплики наподобие «я не верю, что поставленный вами вопрос является таким уж важным», «здесь отсутствует проблема», «странно, что мы на этом сконцентрировались». Неудивительно, что у присутствующих в этот момент возникало замешательство, последствия которого отчетливо проявляли модераторы, ведущие с участием Фуко публичные дискуссии. Так, в знаменитой беседе Фуко с Ноамом Хомским после отказа Фуко отвечать на заданный ему вопрос о его собственном переживании способности «творить и быть свободным» – в достаточной степени сорная и чуждая структурализму психологическая тема, настойчиво привносимая Хомским, с которым Фуко в тот раз не особо воодушевленно беседовал, – ведущий дискуссии Фонс Элдери отомстил ему в финальных репликах, дав на завершающий ответ всего две минуты.

В связи с этим можно представить, какое странное и, вероятно, отталкивающее впечатление на Фуко должно было бы произвести нынешнее состояние интеллектуальной ситуации, где представления о власти снова вернулись к вопросу о «дурной» или «благотворной» силе воздействия, а требования к участникам этой ситуации редуцировались до необходимости проверять свои привилегии. Очертания теоретической мысли сегодня ясно показывают, до какой степени развернулись тенденции, в свое время похоронившие структурализм и связанную с ним теоретическую практику. В то же время у этих спешных похорон были причины, связанные с утратой возможности рассчитывать на прогностическую силу структурализма в вопросах уже самого ближайшего будущего, показавшего, до какой малой степени интеллектуал располагает представлениями о субъекте этого будущего.

Другая современность

Чтобы эти причины выделить, для начала следует сформулировать несколько положений, призванных продемонстрировать, как изменилась за время, прошедшее с момента смерти Фуко, т. н. повестка кофеен – множества разнообразных толков о состоянии ситуации, на которую ангажированный интеллектual все это время продолжал рассчитывать повлиять. Повестка эта показывает, что необратимую трансформацию с периода расцвета и упадка структуралистской мысли и до настоящего времени претерпели по меньшей мере три вещи.

Во-первых, окончательно не оправдались расчеты «философских шестидесятых» на то, что допуск на общественную сцену разнообразных вариаций маргинального – в области сексуальности, искусства, активизма разных мастей – приведет к росту солидарности интеллектуального авангарда. Хотя под прежним структуралистским углом зрения происходящее в современности было бы распознано как засилье явной реакции и сдачи завоеванных рубежей, в то же время отчетливо обнаруживается все более глубокая недостаточность логики, видящей в самом по себе увеличении новых практик и связанных с ними форм жизнеустройства, выходящих за пределы нормативности, признак в точно такой же степени увеличивающегося сопротивления сложившемуся порядку.

Ранее в этом вопросе с некоторой беспечностью предполагалось, что если новые формы и практики вообще могли появиться, то освобождение, которое их существование предположительно несет для всех, в том числе их не придерживающихся, представляет собой лишь вопрос времени. Надежда эта поддерживалась тем, что, коль скоро они могли возникнуть нормативному символическому закону вопреки, со временем постепенно умрет или осел, или шах: или новые практики будут приняты под крыло этого закона, или потеряет приоритет сам закон.

Сегодня от этого чаемого во времена Фуко положения остался лишь содержащийся в нем парадокс, порождаемый вопросом: как может выглядеть само политическое желание агента этих практик? Должны ли они, с его точки зрения, наконец занять место легальных в рамках существующего порядка или же все еще актуально усилие в направлении разрушения последнего? Нынешний открытый гей или сторонник свободного употребления психоактивных веществ буквально не знает, чего ему следует хотеть: того ли, что его образ жизни будет наконец допущен на равных правах с прочими, уже дозволенными, или же того, что необходимость для власти его признать взорвет сам принцип допустимости изнутри. В результате он смутно желает сразу и того и другого, что сказывается на его положении расщепляющим образом даже в тех случаях, когда он убежден в привносимой его собственным активистским вкладом пользе.

Таким образом, сложившееся положение не приводит к следствиям, состоящим в реализации девиза *changer les choses* («менять положений вещей»), чего ожидал как сам Фуко (для которого этот девиз никогда не был простым), так и более уплощенный социальный прогрессизм с присущей ему наивной убежденностью, что желаемые общественные изменения неминуемы и что достаточно лишь верно приложить сопровождающие этот процесс усилия.

Второе новое обстоятельство заключается в том, что еще недавний проект будущего, о котором грезил постколониализм, ожидая падения «фаллоцентрической культуры» (что бы в нем под этим ни понимали), не смог предсказать логику нынешнего распределения установлений власти и оказываемых ей сопротивлений. Вместо прогрессивного краха разнообразных символических границ вместе с ожидаемым наступлением полного безразличия к задаваемым ими ограничениям, когда допустимы будут любые некриминальные вариации поведения – или же, напротив, консервативной катастрофы со схлопыванием поля возможностей (сценарий, которого интеллектуалы конца XX века опасались, но к которому были внутренне готовы), – образовалось нечто совершенно иное, непредсказуемое из более ранней точки. Выяснилось,

что общественное поле может вместить сколько угодно практик, основанных на гетеротопии или прямом нарушении символического порядка, но это не означает ожидаемого размягчения установленных границ и повышения общей терпимости. Напротив, с увеличением количества вариаций общая тревога по их поводу только возрастает, захватывая и раскалывая в том числе самих сторонников прогрессивного расширения, что нередко заставляет их выносить суждения, сходные по акту высказывания с теми, что ранее и до сих пор прочитывались как чисто «консервативные». Выяснилось, что рост терпимости, действительно регистрируемый повсеместно, по крайней мере там, где над ее достижением планомерно работают, в то же время не имеет с показателями этой тревоги никаких прямых корреляций – последняя, невзирая на явные успехи активизма, лишь усиливается.

Тем самым для нынешней ситуации характерны не столько противостояние прогрессивной борьбы за безоговорочный допуск «иной нормы» и консервативной неуступчивости в этом плане, сколько увеличение эксцессов расщепления на этот счет с обеих сторон.

Сегодня это заставляет задать вопрос не столько о прогрессивности, сколько о самом существе акцента на практики, находящиеся за символической чертой нормативности. В 60–80-е годы этот акцент казался чуть ли не естественным, хотя сегодня преимущества выбора в его пользу уже не выглядят столь очевидными и сместились скорее в область социальной филантропии, предполагающей, что некоторые группы и их практики достойны правозащитного внимания более прочих уже потому, что жизнь их представителей осложнена заметнее и существеннее. Характерно, что за пределами большей или меньшей очевидности – например экономического порядка – никто не знает точно, какова степень этого осложнения и как должна быть распределена очередность в исправлении создавшегося в его свете положения.

Может возникнуть впечатление, что активизм предыдущего поколения находился в ситуации точно такого же незнания, но оно будет ошибочным, поскольку в период господства структурализма существовала по меньшей мере одна действительно весомая причина предпочтения практик именно «маргинального» сорта. Данной причиной являлась возможность достигнуть очевидности в вопросе о текущем распределении власти. В тот момент эта очевидность не рассматривалась как преимущество и скорее представляла собой обманчиво объективную констатацию положения вещей. Лишь теперь, когда однозначность в этих вопросах утрачивается, становится ясно, до какой степени она ранее представляла собой роскошь – по всей видимости, более недостижимую.

Так, сегодня невысказанной является ситуация, в которой интеллеktуал может безоговорочно выражать сочувствие любому эксцессу перераспределения власти от центра к периферии. Вместо того чтобы тривиально ссылаться в этом вопросе на такие крайние девиантности, как, например, деятельность террористических групп (хотя в качестве иллюстрации этой новой невысказанности она обычно приходит комментаторам на ум первой), можно указать на гораздо более двусмысленные примеры, такие как деятельность религиозно-эзотерических сообществ или отдельные образцы наиболее радикального активизма, напоминающего по своей протестной стилистике о правом уклоне – например, радикальный феминизм. Во всех этих случаях представители умеренно политизированного интеллектуального сообщества сталкиваются с невозможностью решить, следует ли им, не выражая солидарности, тем не менее констатировать здесь процесс реального сопротивления концентрации власти с ее перераспределением или же постановить, что результат этого перераспределения является чем-то таким, что заново воспроизводит точно такую же или ближайшую модель репрессивности. То и дело принимаемое интеллеktуалом промежуточное решение в пользу последнего варианта не говорит о том, что в этом вопросе постепенно достигается некая определенность, поскольку окончательное решение находится в состоянии постоянного откладывания. Сама однозначность в этих вопросах очень скоро полностью окажется достоянием прошлого.

В-третьих – и это наиболее существенное изменение, ретроактивно затрагивающее судьбу в том числе созданных самим фукианством логик, – произошло впечатляющее отступление с позиций высокого теоретического напряжения, на которых интеллектуальное ангажированное сообщество удерживалось во времена Фуко и непродолжительное время после. Современная оппозиционная повестка снова обнаружила готовность видеть в происходящем не столько работу структур, требующую для своей регистрации создания специальных теоретических средств, сколько обманчиво непосредственно наблюдаемую «дурную» индивидуальную волю, будет ли она выражаться в появлении на ведущих постах очередных *enfant terrible* от власти, чей непримиримый и консервативный нрав принимается во внимание как отдельный и влиятельный фактор, или же в равнодушии носителей расовых, гендерных или иных привилегий по отношению к их лишенным. Представление о власти, расконсолидированное усилиями Фуко, вновь сконденсировалось и выпало осадком ее прямой и бесхитростной критики, слившейся, с одной стороны, с псевдопсихоаналитическим представлением о существовании «наслаждения» властью и жестокостью подавления, а с другой – с самодеятельной марксистской убежденностью в наличии непосредственно извлекаемой из этого подавления выгоды – убежденности, отказывающейся притом иметь дело с Марксом там, где он требует с одной стороны более сложного теоретического опосредования, а с другой – более бескомпромиссной критики, чем та, которую нынешний интеллектуал или активист способны воспринять.

Таким образом, вовлеченными интеллектуалами был совершен шаг на позиции, где достижения структурализма подвергаются не пересмотру или преодолению, а уклоняющемуся от их обсуждения отказу – так, как если бы внесенных в тот период корректив в интеллектуальную повестку не существовало вовсе. В этом отказе, безусловно, есть нечто значимое, не сводящееся к голому «одичанию» критической мысли, то и дело отказывающейся давать место для анализа или изобретения теоретического аппарата там, где, по ее мнению, теперь нужен аффект или протест. По всей видимости, более глубинной причиной является не столько возросшее нетерпение или разочарование в средствах теории, сколько переопределение самой потребности в критическом знании. Теперь от него больше не ожидают проведения операций деконструкции и воспроизводства – характерное для структурализма сочетание, где деконструкция адресовывалась отказу от определенного способа мыслить современность, а воспроизводство – перспективам заново определенной возможности иного будущего, сформулированного в опоре на совершенный отказ.

Напротив, современный ангажированный интеллектуал почти окончательно утрачивает доверие и вкус к грядущему, определение которого тщательно просеяно через требования деконструкции. На повестке оказывается другая пара таких же наиболее общих операций – *ревизии* и *предрекания*, где ревизия отсылает к проверке и одновременно пересмотру позиций всего имеющегося у человеческого существа в наличии (прав, свобод, возможности политического представительства, но также и природных ресурсов, территорий, планетарных количеств питьевой воды и полезных ископаемых и, в конце концов, времени как такового, оставшегося до очередного финансового кризиса или экологической катастрофы). В свою очередь, *предрекание* производится по результатам каждой заново предпринятой ревизии и описывает теперь не иное, а конкретное грядущее, грозящее в том случае, если по результатам ревизии не будут предприняты «правильные» шаги.

В истории отношений интеллектуала и власти возникает новое измерение: первый теперь не столько желает удостовериться в наличии других источников власти (или источника *иной* власти), сколько питает тревогу по поводу общества и государства в свете тех возможных прибавочных значений, которыми его субъектность обладает. При этом есть только один способ проверить это – протестировать общественное мнение и государственную мощь на предмет отношения к связанной с этими значениями неудобоваримости. Данная неудобоваримость сегодня приобретает абсолютное и неснимаемое значение, которым она еще не обладала у

Фуко: так, она больше не зиждется ни на девиантности криминального регистра, ни на различных формах частного порока, которые в действительности бы угрожали общественному порядку. Прибавочность бытия, за которую субъект может быть выделен из числа прочих как неудобный, больше не снабжена удовлетворительными дисциплинарными рационализациями со ссылками на возможный ущерб, наносимый деятельностью этого субъекта общественному благу. Напротив, речь о неудобстве в чистом виде, которое за исключением остаточного общественного неодобрения едва ли кого-то реально ущемляет, но именно это и делает его абсолютным, лишенным основания и именно потому му реальным. Бытие геом, оппозиционером, небелым, или попросту бедным сегодня является гораздо более чреватом, нежели ранее, и, хотя чреватость эта может больше не располагаться в области отчетливых и недвусмысленно описываемых последствий, субъект теперь не знает, какие именно затруднения могут возникнуть в свете его прибавочных характеристик.

Именно здесь окончательно теряют значение ссылки на т. н. систему, по существу давно лишившиеся смысла. Смысл этот был туманен еще со времен Адорно, но в нечто подлинно обскурантистское он превратился вместе с первыми прецедентами официальных депатологизаций, за которыми последовали законодательные акты защиты обладателей тех или иных особенностей, в основном исключительно тех, что через депатологизацию уже прошли. С прогрессивистской точки зрения эту перспективу принято рассматривать как шаг к общественной гуманизации, но для субъекта он, напротив, оказался одной из составляющих масштабного отступления, утраты прежнего способа оказывать сопротивление. По существу, субъект, являющийся носителем той или иной маргинальной черты или практики, или же выступающий в его защиту интеллектuell расстаются с одержимым представлением об анонимной системе, которую необходимо переиграть и оставить с носом; последним наиболее ярким представителем этой стратегии является Джудит Батлер с ее теорией внутреннего подрыва нормы или правила на территории их действительности их же собственными средствами. Напротив, теперь субъект обзаводится истеризацией в свете новой необходимости уповать на искомую благорасположенность власти, ее потенциальную способность прислушаться к мнению просвещенного экспертного сообщества, требующего для своих очередных подопечных защиты их прав и смягчения участи.

Именно эта истеризация и является причиной наступившего сегодня бума камин-аутов, масштабного «роста видимости» в первую очередь в том, что касается вариаций «сексуального», ставшего теперь новым образцом, метафорой любого вариативного поведения в принципе. До какой бы степени прогрессивная общественность ни приветствовала эти процессы, видя в них одновременно воспитательную практику и знак настоящих и будущих общественных перемен, на них неизбежно лежит печать запроса к здравому смыслу, к уже наличествующей просвещенности предположительного Другого, обладающего властью окончательно нормализовать или отвергнуть. Власть эта является новой, еще непредставимой в эпоху Фуко, где чреватость дисциплинарного отвержения все еще сопровождалась предсказуемыми и известными последствиями – криминальным преследованием, потерей общественного статуса или права занимать определенные должности.

На нынешний момент от большинства этих последствий осталась лишь тень консервативного негодования, выражаемого по поводу их отсутствия, но это не помешало не только сохраниться, но и выйти на первый план связанному с маргинализирующими особенностями неудобству как таковому – *unbehagen* без какой-либо не только юридической, но даже в ряде случаев отчетливой моральной прописки. Невзирая на все современные успехи в области повышения терпимости, неудобство продолжает сопровождать носителей этих особенностей и то и дело захватывает новые области, поскольку начинает ощущаться в том числе теми, кто ранее никакого соприкосновения с предметом неудобства не имел, равно как не имел и необходимости обзаводиться каким-либо мнением на этот счет.

Более того, неудобным в этом новом смысле рекурсивным образом становится и сам оппозиционный прогрессивистский активизм. Если в классической дисциплинарности он мог быть преследуем как опасная практика, способная подорвать существующий порядок, то ныне его стигматизированность приобретает черты размытой и всеобщей неопределенности – невовлеченная в его деятельность общественность, в том числе также по-своему прогрессивная, может выражать недовольство риторикой активистских групп, которую она воспринимает как избыточно резкую, или же досадовать по поводу их странной настойчивости и прочих проявлений, которые в то же время не угрожают непосредственно статусу-кво. При этом здесь сохраняется расщепление, поскольку одновременно та же самая общественность может приветствовать отдельные успехи активизма в наиболее вопиющих и требующих его вмешательства случаях, продолжая тем не менее испытывать к нему в целом неприязненную подозрительность. Складывается положение, в котором активизм, даже самый филантропически-благожелательный, оказывается практикой, стигматизированной без какой-либо конкретной стигмы. Тем самым он дополнительно, сверхдетерминистским образом увлекает за собой носителей особенностей и практик, в защиту которых он выступает, на территорию отвержения без признания наличия отвержения как такового.

Социальная группа против родства

Обычно здесь, полагая это уместным, вспоминают о том, что Фуко также являлся носителем прибавочной особенности, будучи в этом смысле одним из немногих интеллектуалов, позволивших себя с ней открыто ассоциировать. С одной стороны, известно, что, говоря о гомосексуальности Фуко и пытаясь провести через данное обстоятельство историю его исследований, тем самым применяют несуществующее в собственном тезаурусе Фуко определение. Причина не только в том, что фукианское исследование показывает дисциплинарное происхождение термина «сексуальная ориентация», соответственно лишаящее освободительного смысла любую борьбу на основе его использования, но и в других обстоятельствах, о которых речь заходит гораздо реже и которые до сих пор сопряжены с непониманием и неудоваримостью. Редкость их разработки, несомненно, этой неудоваримости обязана и ведет в направлении явлений, особенно занимавших Фуко в конце жизни. Речь идет о несостоявшейся программе, с одной стороны, наиболее отчетливо связывающей структурализм с его методологическими истоками, а с другой – поразительно мало в нем разрабатывавшейся, вплоть до того, что программа эта даже для Фуко, как наиболее верного сторонника оживления ее проблематики, осталась в своем роде призрачной, непроявленной линией, не только прерванной его собственной смертью, но и, по всей видимости, встречавшейся с внутренним теоретическим торможением еще при его жизни.

Программа эта представляла собой радикальное обращение к вопросу структур родства и к производимому этим вопросом замещением образцовой для оппозиционно-интеллектуальной эпохи Фуко линии марксистской социальной критики.

С одной стороны, под видом этих структур речь идет о явлении, на первый взгляд отличающемся такой степенью антропологической и социальной неподатливости, что как будто нет ни малейших сомнений насчет отсутствия какой бы то ни было принципиальной эволюции в этом вопросе. В то же время саму возможность такой эволюции следует отличать от непостоянства разнообразных обстоятельств, связанной с готовностью субъекта в воспроизводстве родственных структур участвовать. Так, когда какая-либо позиция в этих структурах становится менее популярной – например, прослойка молодых образованных женщин массово склоняется к решению не обзаводиться официальным мужем и (или) ребенком, а также комплектом сопутствующих браку родственников со стороны мужа – то даже в тех случаях, когда эта тенденция становится достаточно заметной, чтобы ее нельзя было игнорировать, она вовсе не значит, что сами родственные структуры претерпели какое-либо преобразование или в них возникло какое-то новое обстоятельство. Напротив, они остаются незыблемыми тем сильнее, чем более от вложения в их конкретное воспроизводство уклоняются, что хорошо видно на примерах многочисленных подвидов консервативных движений, умело обыгрывающих в своей ностальгической риторике запустевание определенных позиций (отцовской, старшего главы семьи по мужской линии, покорной невестки и т. п.).

В то же время под покровом этих структур, которые многие полагают нераздельно слитыми с самим происхождением общества, постоянно существует движение, с одной стороны, размывающее их и даже в ряде случаев исключаящее следование за ними, а с другой – подкрепляющее на иной основе сам принцип «родственности» как таковой. Хорошо известно, что на протяжении всей истории практически в каждом сообществе обнаруживаются позиции, побочные этим структурам, но в то же время создающие эксцессы их замещения или расширения.

Фуко, несомненно, был чувствителен к этим эксцессам уже по той причине, что максимально близко находился к среде, где нечто вмещающееся в установленный порядок родства и *пополняющее* его могло иметь место, пусть даже посредством несмелого заигрывания

с этим порядком, своего рода эксперимента. Так, в том же куртуазно-литературном мужском сообществе тогдашней Франции быть для кого-то «его мальчиком», «племянником», «дружочком» или «шаловливым гостем» означало не просто иронически имитировать классические родственные связи (хотя именно вопрос субверсивной имитации в какой-то момент показался некоторым постфукианским интеллектуалам хорошим решением вопроса о любви в рамках общества семейной дисциплинарности). Тем не менее предельная ставка Фуко, подкрепленная в том числе изучением античного общества, состояла в попытке утверждения полновесных – хотя и не надеющихся ни на какую легализацию – отношений других порядков.

При этом Фуко максимально близко подошел не просто к постулированию возможности альтернативных родственных образований, но и к предположению, что источником появления новых форм родственности может являться нечто, выходящее за пределы той символической поруки, в опоре на которую родство в общем, в том числе метафорическом смысле (kinship) требует отождествления с отношениями родственности в фамильном смысле (kin relationships).

Родственность, разыскиваемая Фуко, таким образом, не имела нужды к сведению к какой бы то ни было метафоре «семейственности» – даже в формах субверсивного преодоления последней. В этом смысле скорее плодом непонимания было бы утверждение, что к подобной программе возможно возвести, например, современные активистские усилия по легализации однополых союзов в качестве равноправных в глазах государства и общества. То, что нащупывал Фуко, состояло не в воспроизводстве уже имеющих место родственных отношений с не совсем типичными для них участниками, а в вопросе о структурах родства как о том, что придает «отношениям вообще» вытекающий из самих задействованных в них структурных позиций некий специальный характер. В этом смысле невозможно заведомо сказать, кем именно даже в случае зарегистрированных однополых отношений партнеры друг для друга станут, поскольку родство такого типа принципиально не может быть объяснено через гетеротипичные брачные отношения. Последние в силу задействованного в них иного сочетания позиций просто не могут быть для гомосексуального родства образцом, хотя бы даже некоторые однополые пары предпринимали усилия для приведения своих союзов к этому идеалу. Более того, субъекты новых отношений вовсе не обязательно должны образовывать пару или какое-либо замкнутое сообщество, т. н. family circle.

В то же время Фуко менее всего намеревался продвигаться и в сторону расширения смысла родственности как романтически-революционной категории, предполагавшей необходимость породнения – чрезродственного и чрезклассового – в характерных формах «братания» как субъектов движений, так и больших сверхсубъектных консолидаций (сообществ или стран). Никакое «братство», fraternity, глубоко интересовавшее как марксизм, так и фрейдовский психоанализ, Фуко, усомнившегося в обоих этих движениях, не привлекало, как, впрочем, не интересовало оно и другого структуралиста, Лакана, который попросту в него не верил.

В этом отношении становится ясным, почему для Фуко неприемлемыми оказываются как зарождающийся на его глазах язык «защиты прав», так и вытекающие из него практики соответствующего «окультурирования» общества на основе программ повышения терпимости к условно выделенным «меньшинствам». Более того, воодушевление в отношении какой-либо отдельной линии формирования родственных союзов за пределами стандартных типов родства вовсе не должно было означать ни верности всему классу таких союзов как таковых, ни распространения лояльности на альтернативные союзы других типов. Тем самым Фуко открывает возможность избежать ловушки, в которой увязает современный правозащитный активизм, стоящий на позициях «aut Caesar, aut nihil»⁴ и требующий отказаться от того, что может быть воспринято как любая попытка скрыть предрассудки на пути соискания блага подзащитных. Сталкиваясь с подобными попытками (например, в виде выражения ограниченной терпимо-

⁴ Все или ничего (лат.).

сти в отношении гомосексуальных связей, но неприятия в адрес отстаивания их участниками своих прав на официальный союз), этот активизм задействует унаследованную от марксизма операцию, устроенную по образцу «разоблачения улучшенной защиты». Всякий раз, когда возникает какая-либо, не обязательно консервативная, критика идейного облика, языка или иных характеристик правозащитных движений, активистское сообщество возвращает аргумент, от которого эта критика пыталась откеститься, со словами: «Вы утверждаете, что у вас есть претензии к отдельным проявлениям нашей активистской работы, но тем самым вы лишь маскируете непризнаваемую вами нетерпимость к особенностям наших подзащитных, от которой вы в действительности отправляетесь и которой до конца остаетесь верны».

По этому же разряду обычно проходит стихийная гипотеза, которой придерживаются как консервативно настроенная часть общества, так и многие интеллектуалы независимо от занимаемой ими политической позиции, – гипотеза, согласно которой проблема возникает именно тогда, когда определенная практика – сексуальная, гендерная или же связанная с альтернативным образом жизни – концентрируется в соответствующее движение и получает представительство на публичной сцене (то есть из него выделяется часть, которая берет слово). В этих случаях любой усматриваемый беспорядок в логике или терминологии приписывается исключительно этой говорящей части («с меньшинствами все в порядке до тех пор, пока они не образуют активистское движение»), и так сегодня может сказать далеко не только моральный противник этих меньшинств или отпетый консерватор.

То, что это разделение на «естественно существующую» и дополнительно выделенную «презентирующую» часть нередко используется в дискуссиях внутри самих представителей меньшинств, по всей видимости, не должно вводить в заблуждение относительно его релевантности, но не по той причине, что за ним просто-напросто скрывается та или иная неполиткорректная фобия. Хотя последнее несколько не исключено, проблематичность остается, поскольку весь подход целиком основан на определенном взгляде на вещи. Всеми существующими на этот счет представлениями, включая в том числе самые наивные и бедные какой бы то ни было теорией вообще, управляют воззрения, в которых на первое место выходит мышление «группами», «сообществами», неким формальным собиранием субъектов под эгидой какой-либо прибавочной особенности, которая может быть сколь угодно оригинальной, но при этом не влияет ни на сам механизм образования и восприятия общности, ни на характер образуемых ими структур публичного представительства. Заходит ли речь о субъектах некоей ориентации, политических взглядов, обращения с определенными этапами производства или потребления благ (утилизация отходов, рождение детей, степень допущения медицинских вмешательств), все предстает так, как если бы из самого факта существования этой особенности общность, пусть даже допущенная абстрактно, вытекает так же, как, по ироническому выражению Хайдеггера, горный хребет в критикуемом им метафизическом мышлении образуется «собранием отдельных гор». Выступать против подобного восприятия трудно, в особенности когда речь идет о вышеназванной представительской части движений, учитывая, что активисты любых направлений волей-неволей используют одни и те же методы реализации публичности, практически одинаковую стилистику оповещения о мероприятиях и типовые организационные способы их проведения, поскольку печатаются в изданиях, распространяющихся при помощи одной и той же глобальной информационной сети и т. п.

Тем самым их представители находятся в условиях неразличимости, против которой сам Фуко непрестанно возражал, нападая не столько на неизбежно ей сопутствующие общественные последствия, сколько на техническую гипотезу, становящуюся для этих обстоятельств благодатной почвой. Здесь можно вспомнить о получившей широкое хождение беседе из первого тома «Интеллектуалов и власти» с Бернаром-Анри Леви, озаглавленной как «Спор с маоистами» и посвященной вопросам организации народного возмездия в случае революционного движения, добившегося некоторых успехов и намеренного их удержать. В нем Фуко перевора-

чивает посыл, от которого маоисты отправлялись, предполагая, что основным средством возмездия угнетателям остается суд, но суд не всякий, а лишь организованный в соответствии с т. н. народными интересами. С тем, что исторически эти интересы систематически нарушались, ретроактивно переназначались и переписывались в соответствии с выгодами новой власти, европейский маоизм не мог спорить, но предполагал, что этот досадный дефект может быть исправлен вместе с дальнейшим усовершенствованием методов политической борьбы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.